

Михаил
Шишкин

Михаил
Шишкин
ПИСЬМОВНИК

Роман



Издательство
АСТ
Москва

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Ш65

Художник — *Андрей Рыбаков*

Шишкин, Михаил Павлович.

Ш65 Письмовник : роман / Михаил Шишкин. — Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2019. — 414, [2] с. — (Новая русская классика).

ISBN 978-5-17-095364-6

В романе «Письмовник», на первый взгляд, всё просто: он, она. Письма. Дача. Первая любовь. Но судьба не любит простых сюжетов. Листок в конверте взрывает мир, рвется связь времен. Прошедшее становится настоящим: Шекспир и Марко Поло, приключения полярного летчика и взятие русскими войсками Пекина. Влюбленные идут навстречу друг другу, чтобы связать собою разорванное время. Это роман о тайне. О том, что смерть — такой же дар, как и любовь.

Роман удостоен премии «Большая книга».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-095364-6

© Шишкин М. П., 2010
© ООО «Издательство АСТ», 2016

* * *

Открываю вчерашнюю «Вечерку», а там про нас с тобой.

Пишут, что в начале снова будет слово. А пока в школах еще по старинке талдычат, что сперва был большой взрыв и все сущее разлетелось.

Причем все якобы существовало уже до взрыва — и все еще не сказанные слова, и все видимые и невидимые галактики. Так в песке уже живет будущее стекло, и песчинки — семена вот этого окна, за которым как раз пробежал мальчишка с мячом, засунутым под футболку.

Это был такой сгусток тепла и света.

А размером эта ни окон ни дверей полна горница людей была, сообщают ученые, с футбольный мяч. Или арбуз. А мы в нем были семечками. И вот там все созрело и, напыжившись, поддало изнутри.

Первоарбуз треснул.

Семена разлетелись и дали ростки.

Одно семечко пустило росток и стало нашим деревом, вот тень его ветки елозит по подоконнику.

Другое стало воспоминанием одной девочки, которая хотела быть мальчиком, — в детстве ее одели на маскарад Котом в сапогах, и все кругом норовили дернуть за хвост и в конце концов оторвали, так и пришлось ходить с хвостом в руке.

Третье семечко проклюнулось много лет назад и стало юношей, который любил, когда я чесала ему спинку, и ненавидел ложь, особенно когда начинали уверять со всех трибун, что смерти нет, что записанные слова — это что-то вроде трамвая, увозящего в бессмертие.

По гороскопу друидов он был Морковка.

Перед тем как сжечь дневник и все свои рукописи, он написал последнюю фразу, ужасно смешную: «Дар оставил меня», — я успела прочитать до того, как ты вырвал из моих рук ту тетрадку.

Стояли у костра и поднимали от жара ладони к лицу, глядя на кости пальцев, которые проступали сквозь прозрачную красную плоть. Сверху падали хлопья пепла — теплые сгоревшие страницы.

Да, чуть не забыла, а потом все сущее снова соберется в точку.

Вовка-морковка, где ты сейчас?

И что же это получается? Юлия-дурочка стареется, шлет ему письма, а жестокосердный Сен-Пре отделяется короткими шутивными посланиями, иногда в стихах, рифмуя селедок и шведок, амуницию и сублимацию, засранное очко

Письмовник

и улыбку Джоконды (кстати, ты понял, чему она улыбается? — я, кажется, поняла), пупок и Бог.

Любимый мой!

Зачем ты это сделал?

* * *

Оставалось только выбрать себе войну. Но за этим, понятно, дело не стало. Уж чего-чего, а этого добра у непобитого отечества хлебом не корми, и дружественные царства, не успеешь толком и газету развернуть, уже ловят на штыки младенцев да насилуют старух. Почему-то особенно бывает жалко невинно убиенного царевича в матроске. Женщины, старики и дети как-то привычно проскальзывают мимо ушей, а тут матроска.

Отставной козы барабанщик соло, над колокольней хмарь, родина-мать зовет.

На призывном пункте призывали: каждому нужен свой Аустерлиц!

Действительно нужен.

На медкомиссии военврач — огромный череп лыс, шишковат — внимательно посмотрел в глаза. Сказал:

— Ты всех презираешь. Знаешь, я ведь тоже был таким. Мне было столько же, сколько тебе, когда я проходил первую практику в больнице. И вот нам однажды привезли бомжа, которого сбила машина. Еще жил, но уж очень сильно его изувечило. Особенно и не старались. Видно, что никому старик не нужен и никто за ним не при-

дет. Вонь, грязь, вши, гной. В общем, положили в сторонку, чтобы ничего не испачкал. Сам дойдет. А я должен был потом убрать, помыть и отправить тело в морг. Все ушли, оставили меня одного. Я вышел покурить и думаю — зачем мне все это надо? Кто мне этот старик? Зачем он нужен? Пока курил, тот дошел. И вот вытираю кровь, гной — кое-как, чтобы поскорее его отправить в морозилку. И тут подумал, что, может, он кому-то отец. Принес тазик с горячей водой, стал его обмывать. Тело старое, заброшенное, жалкое. Никто его годами не гладил. И вот я мою его ноги, страшные скрюченные пальцы, а ногтей почти и нет — все съел грибок. Протираю губкой все его раны, шрамы — и тихо с ним разговариваю: ну что, отец, тяжелая у тебя получилась жизнь? Нелегко, когда тебя никто не любит. Да и как это в твоём-то возрасте жить на улице бездомной собакой? Но теперь-то все закончилось. Отдохни! Теперь все хорошо. Ничего не болит, никто не гонит. И вот так мыл его и разговаривал. Не знаю, помогло ли это ему в смерти, но мне это очень помогло жить.

Сашенька моя!

* * *

Володенька!

Смотрю на закат. И думаю: вдруг ты сейчас, в этот самый миг, тоже смотришь на этот закат? И значит, мы вместе.

Такая тишина кругом.

А небо какое!

Вон бузина — и та мироощущает.

В такие минуты кажется, что деревья все понимают, только сказать не могут — совсем как мы.

И вдруг очень остро чувствуешь, что на самом деле мысли и слова сделаны из той же сути, что и это зарево, или то же зарево, но отраженное вон в той луже, или моя рука с перебинтованным пальцем. Так хочется, чтобы ты все это сейчас увидел!

Представляешь, взяла хлебный нож и умудрилась резануть себе палец по самый ноготь. Забинтовала кое-как, а потом нарисовала на бинте два глаза, нос. Получился мальчик с пальчик. Вот с ним весь вечер и разговариваю о тебе.

Перечитала твою первую открытку. Да! Да! Да! Именно так! Все рифмуется! Посмотри кругом! Это же рифмы! Вот мир видимый, а вот — если закрыть глаза — невидимый. Вот часовые стрелки, а вот к ним рифма — стромбус, в миру ставший пепельницей. Вот сосна штопает веткой небо — а вот на полке аптечная травка, полезная тем, что гонит ветры. Это мой забинтованный палец, теперь, наверно, шрам останется навсегда, а рифма к нему — тот же мой палец, но еще до моего рождения и когда меня уже не будет, что, наверно, одно и то же. Все на свете зарифмовано со всем на свете. Эти рифмы связывают мир, сбивают его, как гвозди, загнанные по шляпки, чтобы он не рассыпался.

И самое удивительное, что эти рифмы уже всегда были — изначально, — их нельзя придумать, как невозможно придумать самого простого комара или вот это облако из класса долголетающих. Понимаешь, не хватит никакого воображения, чтобы придумать самые простые вещи!

У кого это было написано про людей, жадных счастья? Как хорошо сказано! Это ведь я — жадная счастья.

А еще стала замечать, что повторяю твои жесты. Говорю твоими словами. Смотрю твоими глазами. Думаю как ты. Пишу как ты.

Все время вспоминаю наше лето.

Наши утренние этюды маслом на поджаренных хлебцах.

Помнишь наш стол под сиренью, покрытый клеенкой с бурым треугольником — следом горячего утюга?

А вот это ты не можешь помнить, это только мое: ты прошел утром по траве и на солнце будто оставил сверкающую лыжню.

И запахи из сада! Такие густые, плотные, прямо взвесью стоят в воздухе. Хоть наливай в чашку вместо заварки.

И у всего кругом только одно на уме — просто идешь по полю или лесу, а всяк норовит опылить, осеменить. Все носки в семенах травы.

А помнишь, мы нашли в поле зайца с перерезанными ногами — косилкой.

Кареглазые коровы.

На тропинке — козьи орешки.

Письмовник

Наша запруда — муть на дне, цветущая жижа, полная лягушачьей икры. Толстолобики бодаются с небом. Вылезает из воды и ошпыивает с себя водоросли.

Я легла загорать, закрыла лицо майкой, ветер шуршит, как накрахмаленное белье. И вдруг что-то в пупке щекотное — открываю глаза, а это ты тонкой струйкой сыплешь из кулака песок мне на живот.

Идем домой, а ветер испытывает деревья и нас на парусность.

Собираем опавшие яблоки — первые, кислые, на компот — и кидаемся этими паданцами.

Лес на закате зубчатый.

А среди ночи будит подпрыгнувшая мышеловка.

* * *

Сашенька моя хорошая!

Что ж, буду нумеровать письма, чтобы знать, какое пропало.

Извини, что получают короткие писульки, — совершенно нет времени на себя. И не высыпаясь ужасно, хочется закрыть глаза и уснуть хоть стоя. Декарта убила необходимость вставать затемно в пять часов утра, чтобы читать шведской королеве Кристине лекции по философии. А я еще держусь.

Сегодня был в штабе и вдруг увидел свое отражение в зеркале в полном обмундировании.

Странно стало, что за маскарад? Сам себе удивился: как это я — солдат?

Ты знаешь, в этом все-таки что-то есть — жить, равняясь на скулу четвертого.

Расскажу тебе историю о пилотке. Она короткая. У меня ее сперли. В смысле, пилотку. А встать в строй без пилотки — это нарушение устава, короче, преступление.

Наш начальник начальник и командиров командир затопал ногами и пообещал, что я буду мыть сортир до скончания веков.

— Языком вылижешь, падла!

Так и сказал.

Что ж, в военной речи есть что-то вдохновляющее. Где-то читал, что Стендаль научился писать просто и ясно, изучая боевые приказы Наполеона.

А сортир здешний, далекая моя Сашка, это нужно объяснить. Представь себе дырки в загаженном полу. Нет, лучше не представляй! И каждый норовит наделать кучу не в дырку, а с краю. И залито все. Вообще работа желудка у твоего покорного и иже с ним — особая тема. В здешней отдаленности почему-то всегда болит живот. Непонятно, как можно посвятить себя науке победждать, если сидишь все время над бездной и из тебя льется?

Короче, я ему:

— Да где ж я возьму вам пилотку?

А он:

— У тебя сперли, пойд и ты сопри!

И вот я пошел переть пилотку. А это непросто. Вернее, даже очень сложно, поскольку каждый норовит.

И вот ходил-бродил.

И вдруг подумал: кто я? Где я?

И пошел мыть сортир. И во всем мире появилась какая-то легкость.

Нужно было здесь оказаться, чтобы научиться понимать простые вещи.

Понимаешь, в говне нет ничего грязного.

* * *

Ну вот, пишу тебе ночью. Сейчас сгрызла горбушку в постели, теперь крошки не дают заснуть, разбежались по простыне и кусаются.

В окне над головой звездно-презвездно.

И Млечный путь делит небо наискосок. Ты знаешь, это похоже на какую-то гигантскую дробь. В числителе — половина Вселенной, и в знаменателе — другая половина. Всегда ненавидела эти дроби, числа в каком-то квадрате, в кубе, какие-то корни. Все это такое бестелесное, непредставимое, совершенно не за что ухватиться. Корень он и есть корень — у дерева. Крепкий, лезет, хватается, жрет землю, цепкий, сосущий, неустойчивый, жадный, живой. А тут ерунда какая-то закорючкой, а туда же — корень!

И как можно понять минус? Минус окно — это как? Оно же никуда не денется. И то, что за окном.

Или минус я?

Такого же не бывает.

Я вообще человек всего, что можно потрогать.

И понюхать.

Понюхать даже больше. Как в книжке, которую папа читал мне в детстве перед сном. Есть разные люди. Есть люди, которые все время сражаются с журавлями. Есть люди с одной ногой, на которой они передвигаются стремительно, и у них настолько большая ступня, что они укрываются в ее обширной тени от солнечного зноя и отдыхают, словно внутри дома. А еще существуют иные люди, которые живут только запахами плодов. Когда им надо отправиться в дальний путь, то они берут с собой эти плоды, а если почувствуют дурной запах, умирают. Вот это про меня.

Понимаешь, все живое, чтобы существовать, должно пахнуть. Хоть как-нибудь. А все эти дробы и вообще все, чему учили, — не пахнет.

За окном какой-то полуночник сейчас бредет, футбола пустую бутылку. Звонкий звук стекла по асфальту на пустынной улице.

Разбилась.

Ночью в такие минуты так одиноко и так хочется быть хоть чему-то причиной.

И нестерпимо хочется быть с тобой! Обнять тебя, приласкаться.

А знаешь, что получится, если вот этот звездный числитель за окном поделить на знаменатель? Одну половину Вселенной на другую? Почувствуй я. И ты со мной.

Сегодня увидела, как девочка упала с велосипеда — ободрала коленку, сидит и горько плачет, и белый гольф заляпан. Это было на набережной, где львы — пасть забита мусором, обертками, палочками от мороженого. И вот я потом шла домой и почему-то подумала, что все великие книги, картины не о любви вовсе. Только делают вид, что о любви, чтобы читать было интересно. А на самом деле о смерти. В книгах любовь — это такой щит, а вернее, просто повязка на глаза. Чтобы не видеть. Чтобы не так страшно было.

Не знаю, какая связь была с той девочкой, упавшей с велосипеда.

Она поплакала и уже, может, давно об этом забыла, а в книге ее ободранная коленка осталась бы до самой ее смерти и после.

Наверно, все книги не о смерти, а о вечности, но только вечность у них ненастоящая — какой-то обрывок, миг — как цокотуха в янтаре. Присела на минутку задние лапки почесать, а вышло, что навсегда. Конечно, они выбирают разные прекрасные мгновения, но разве не страшно остаться вот так, вечным, фарфоровым — как пастушок все тянется поцеловать пастушку.

А мне ничего фарфорового не нужно. Нужно все живое, здесь и сейчас. Ты, твоё тепло, твой голос, твоё тело, твой запах.

Ты сейчас так далеко, что совсем не страшно сказать тебе одну вещь. Ты знаешь, я ведь тогда на даче приходила к тебе в комнату, пока тебя не было. И все нюхала. Твоё мыло. Твой одеколон.